

«Ежемесячные художественно-литературные приложения
ежедневной газеты «Закаспийское обозрение» (Асхабад) 1898, № 7-9
с. 21-27.

№ 7, 8 и 9

ЗАКАСПИЙСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21

Въ монастырь во святой
Удалиться ли?
Охъ, тоска-то, тоска
Во всю ночь-ночь,
Закрылъ мужика
Въ эту ночь-ночь!
Всю то, всю жизнь мою
Беззаконную
Я теперь признаю
Въ ночь беззаконную...
Какъ умру, поведунъ,
Обязательно,
Охъ, на страшный тотъ судъ
Окончательный.
Вонъ въ блестящемъ самъ Богъ
Одѣянъ!..
Ликъ божественный строгъ
И въ сѣни...
И къ Его угаду
Я подножю
И предамся суду,
Суду Божю.
«Кто ты, трывная плоть?»
Дивнымъ голосомъ
Такъ мнѣ скажетъ Господь.
Слабымъ колосомъ
Передъ нимъ задрожу
И отчаянно
«Ты помилуй»,—скажу,—
«Меня, Каина!»
— Передъ ликомъ Моимъ
«Пусть объявится
«Всякъ обиженный имъ!
«Пусть онъ явится!»—
Скажетъ Богъ... И на плась
Повѣстия
Раздадутся тотчасъ
Обвиненія.

«Онъ отину все грѣшныя!»
Скажетъ батюшка.
«Онъ меня чуть не билъ!»
Скажетъ матушка.
Я боюсь,—тутъ жена
Не вѣдала бы,
Не шептала бы она
Свои жалобы;
Я боюсь,—блудный братъ
Изъ общины
Райскихъ выступить въ рядъ
Обвинителей...
И сверкнетъ тутъ огнемъ
Ликъ божественный,
И раздѣлится, какъ громъ,
Судъ торжественный:
«— Ненавидны вы мнѣ,
«Безсердечны!»
«Такъ гори же въ огнь
«Въ кнѣзъ!»—
И захватитъ тутъ бѣсъ
Душу трывную
И пошатнетъ съ небесъ
Въ тѣмъ кромешину...
Дождикъ льетъ и стѣшетъ
Милу безъ жалости;
У окна, у воротъ
Вьѣра талости:
Воемъ онъ, точно псовъ
Стая бѣшеныхъ,
Точно дохотъ бѣсовъ
Распощенныхъ,
Точно адскихъ ошей
Клокотаніе,
Точно трывныхъ людей
Завываніе...

Л. Владиміровъ.



„Мужики“ — рассказъ Ан. П. Чехова.



I.

ЭТОТЪ рассказъ былъ помѣщенъ въ апрѣльской книгѣ Русской Мысли за 97 годъ, а потомъ вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ вмѣстѣ съ другою повѣстью того-же писателя: «Моя жизнь» *). О немъ очень много говорили и писали. Онъ произвелъ большой, лестный для него, шумъ.

Сюжетъ рассказа очень простъ.

Лакей одной московской гостиницы заболѣлъ, поѣхалъ жить въ свою родную деревню, немного поболѣлъ здѣсь тѣломъ и душою, поспыталъ деревенской нужды и грубости, и умеръ. Жена его съ дочкой, съ которыми онъ сюда пріѣхалъ, послѣ его смер-

ти отправилась обратно въ Москву, чтобы наняться въ услуженіе.

На основѣ такой незатѣйливой фабулы писатель даетъ чрезвычайно яркую, сжатую и потрясающую картину деревенскаго быта, выводитъ передъ нами нѣсколько типическихъ лицъ, выхваченныхъ прямо изъ жизни, показываетъ намъ съ поразительною ясностью и подкупающею правдивостью все то зло, которое окружаетъ деревню и жѣмаетъ ее благосостоянію.

Вы не найдете здѣсь ни завязки, ни развязки, ни интриги, въ обычномъ смыслѣ этихъ словъ, не найдете романическихъ происшествій; здѣсь есть только одно—сама жизнь съ ея кажущейся простотой, но на самомъ дѣлѣ полная подчасъ самаго глубокаго трагизма.

И все время пока вы будете читать это замѣчательное произведеніе, вы будете думать: «какъ просто и какъ хорошо! какъ глубоко и вѣрно!»

*) Недавно появилось уже пятое изданіе «Мужиковъ».

Чѣмъ, вообще, измѣряется значеніе писателя?

Прежде всего, силой его таланта. А затѣмъ, такъ сказать, широтой размаха его творчества, важностью тѣхъ лицъ, предметовъ и событий, которые онъ изображаетъ.

У маленькаго писателя — узкая сфера наблюдений, у писателя большаго — широкая сфера.

Не нужно, однако, сѣмивать широту кругозора съ силой зрѣнія. Иной писатель, талантливый, и въ мелкой, узкой средѣ сумѣетъ сдѣлать много драгоцѣнныхъ наблюдений, а главное, возведетъ эти наблюдения въ перлъ сознанія⁴, въ типъ. Другой писатель, бездарный или посредственный, и въ центрѣ обширнѣйшаго и оживленнѣйшаго міра подсмотритъ только пустяки, или изобразитъ, хотя и важныя явленія, но въ образѣ, лилѣ и видѣ пустяковъ. Значитъ, главное — опять-таки въ силѣ зрѣнія, въ талантѣ.

Я хочу сказать, что этотъ талантъ только тогда достигаетъ наибольшей степени своей силы и пріобрѣтаетъ наибольшее значеніе въ средѣ читателей и въ области литературы, когда съ нимъ соединяется, какъ я сказалъ, широта размаха творчества, т. е. широта круга лицъ и предметовъ его наблюдательности, широта его наблюдений.

Есть два рода писателей: художники частной жизни и художники жизни общественной.

Несомнѣнно, изъ двухъ раннихъ по таланту писателей наибольшее значеніе въ глазахъ общества будетъ имѣть тотъ, который изображаетъ широкія картины жизни цѣлаго общества, а не картинки частнаго быта.

Здѣсь я опять долженъ оговориться. Порою, подъ перомъ выдающагося писателя изображеніе жизни частныхъ лицъ имѣетъ общественное значеніе. Достаточно вспомнить, наприимѣръ, *Олема*. И даже всегда бываетъ у даровитыхъ писателей, что въ частной обстановкѣ ихъ героев — частныхъ лицъ, и въ самихъ этихъ герояхъ всегда выступаютъ на первый планъ нѣчто рѣзко характерное, типическое, обрисовывающее ихъ скорѣе, какъ что-то собирательное, общее, какъ типъ, нежели какъ индивидуальность.

Но нужно ли проводить глубже, рѣзче границу между художникомъ частной и художникомъ общественной жизни.

Художникъ частной жизни рисуетъ портреты или, лучше сказать, снимаетъ портреты своихъ дѣйствующихъ лицъ по фотографическому способу. Этотъ господинъ есть Петръ Петровичъ Ивановъ и никто болѣе — и только онъ одинъ такой и есть на свѣтѣ; другихъ ему подобныхъ нѣтъ. Это фотографическая карточка даннаго лица, и болѣе ничего. Если вы съ нимъ, Петромъ Петровичемъ Ивановымъ, знакомы, то вы скажете: «да, это онъ, мой знакомый Петръ Петровичъ Ивановъ, я его знаю». Если вы незнакомы съ нимъ, вы скажете: «этого господина я не знаю, никогда не видать, и не встрѣчать никогда похожихъ на него». Точно также и съ обстановкой, окружающей П. П. Иванова, и съ его образами мыслей, съ его характера, поведенія, съ событий его жизни художникъ частнаго быта снимаетъ фотографію, — точное, но не типическое воспроизведеніе этой обстановки, этого характера, этого поведенія, пишеть біографію этого лица, — никакого другого, какъ именно одного этого.

Художникъ жизни общественной не снимаетъ фотографію, а широкой артистическою кистью, яркими красками, рисуетъ портретъ — можетъ быть и съ одного лица, можетъ быть съ того-же Петра Петровича Иванова, — но рисуетъ его такъ, чтобы въ немъ представалъ глазамъ всѣхъ не этотъ именно П. П. Ивановъ, который находится передъ взоромъ художника, а многочисленные, разбѣянные по всему свѣту Петры Петровичи Ивановы, — хотя и не носящіе той-же фамилии, но по складу мыслей, по образу жизни, вку-

самъ, склонностямъ подобные изображенному художникомъ П. П. Иванову. Иными словами, художникъ извлекаетъ изъ души Петра Петровича только то, что въ ней есть общаго съ тысячами, можетъ быть миллионами, другихъ душъ, — а все оставшее въ этой душѣ, не общее, не характерное для цѣлаго круга лицъ, для типа, либо отбрасываетъ, либо ставитъ въ тѣнь, на невидное мѣсто, на далекий задній планъ. И, видя такой портретъ, нарисованный кистью даровитаго художника, вы сразу скажете: «такихъ господъ, какъ этотъ, я встрѣчалъ тысячу разъ въ своей жизни!» И вы скажете это неспрѣйно, хотя томъ въ томъ такого П. П. Иванова, какъ изображенный, вы никогда не встрѣчали и не встрѣтите. Это — типъ, обобщеніе многихъ и многихъ индивидуальностей. Какъ въ наукѣ ибнѣе всего обобщенія, такъ и въ художественномъ творчествѣ всего важнѣе — типы.

Все дѣло въ томъ, что художникъ частной жизни не философствуетъ, а художникъ жизни общественной всегда немножечко философъ, а порою такъ даже и очень философъ. Такъ, гр. Левъ Толстой глубочайшій и удивительнѣйшій изъ художниковъ-философовъ; таковъ-же былъ и Шекспиръ⁵).

Эта-то философія художника и дѣлаетъ то, что, даже изображая частный бытъ, частную обстановку, частнаго челоѣка, онъ является писателемъ общественнымъ, онъ изображаетъ жизнь общества, онъ даетъ типическое изображеніе типическаго представителя общества.

Вотъ что значить художникъ жизни общественной.

Это такой писатель, произведенія котораго, такъ или иначе, представляютъ обществу зеркало его устройства, его быта, зеркало его достоинствъ и недостатковъ, его героевъ, его злодѣевъ, его великихъ и малыхъ дѣлъ. Чѣмъ выше и шире талантъ общественного писателя, тѣмъ прозрачнѣе и вѣрнѣе это зеркало.

Въ произведеніяхъ-же художниковъ частной жизни общество не узнаетъ, не видитъ себя; въ нихъ иногда видать себя развѣ отдѣльныя, немногочисленныя и незамѣтныя личности.

Вотъ разннца между тѣмъ и другимъ родомъ художниковъ — художниками типической общественной жизни и художниками жизни не типической, индивидуальной.

Большіе таланты всегда общественные писатели; таланты, мелко плавающие, относятся ко второй категоріи⁶).

Чеховъ — писатель общественный. Рисуя частныя характеры и частныя событія, онъ всегда типически освѣщаетъ ихъ. Многочисленныя лица его произведений попадаютъ намъ въ жизни на каждомъ шагѣ. Съ

⁴) Одна изъ характерныхъ чертъ текспировскихъ драмъ: — его герои философствуютъ надъ жизнью и о жизни, о челоѣкѣ, о природѣ, о мірѣ сверхъчеловѣческомъ. Собственно говоря, всѣ его герои — Гамлеты, всѣ — философы. Макбетъ философствуетъ надъ психологическимъ значеніемъ преступленія; король Лиръ, по поводу неблагонадежности своихъ дочерей, философствуетъ о мировой несправедливости («нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ!») и вообще объ отношеніяхъ людей другъ къ другу. И т. д. Эта способность философствовать перешла къ текспировскимъ героямъ отъ самого автора, глубокаго и величественнаго философа, — какъ, конечно, къ нимъ перешли и многія другія черты характера ихъ творчества.

Эти-то блестящіе философско-поэтическія отступленія и составляютъ одну изъ лучшихъ прелестей текспировскихъ твореній, одну изъ интереснѣйшихъ сторонъ его творчества. Имя, между прочимъ, быть можетъ столько-же, сколько и психологической глубины, обязаны драмы Шекспира своимъ всемірнымъ и многотысячнымъ успѣхамъ.

⁶) Еще выше общественного писателя долженъ быть поставленъ писатель мировой, т. е. тотъ писатель, произведенія котораго имѣютъ значеніе уже не только для даннаго общества, для даннаго народа, но для цѣлаго свѣта — по психологической глубинѣ изображаемыхъ имъ характеровъ, изъ которыхъ такой писатель создаетъ уже не только общественный типъ, а прямо типъ общечеловѣческій. Таковъ — Шекспиръ; таковъ — гр. Л. Толстой.

другой стороны, в рассказах и повестях Чехова эти лица, выхваченные прямо из жизни и типически несозданные философской фантазией художника, производят на нас впечатление самой жизни.

Теперь пока я не ставлю своей задачей пространное подробное рассмотрение литературной деятельности Чехова, изучение его произведений, типов, низ созданных, извлечение — на основании этого материала — художественной философии, как я ее понимаю.

Быть может, я не откажу себе в удовольствии заняться этим в другой раз и поделиться с читателем своими выводами. Но пока я ограничусь лишь тем, что в общих чертах постараюсь обрисовать хорошие свойства уважаемого писателя.

Их много, но самая ценная из них суть: простота, правдивость, верность наблюдений, сила образности, глубина художественной мысли, порою потрясающий драматизм рассказа, юмор, всегда благородный, и очень часто тонкая, благоуханная поэзия. Все это делает Чехова, по истини, мастером художественного творчества.

В чем заключается простота?

Есть писатели, бывшие на эффекте, кричащие, прибавляющие, особенно в патетических местах, к своим звонким словам. Они всего более заботятся о том, чтобы быть или казаться красноречивыми. Слог произведения составляет, по их мнению, его душу. И часто, желая выразиться как можно изящнее, благозвучнее или изумительнее, они жертвуют жизненной правдой ради красивой фразы, ради эффектного вымысла.

Не таковы Чеховы. Слог его сжат, прост, выразителен. Это в высокой степени естественный, жизненный слог. Но он в то же время и изящен, благозвучен, поэтичен. Точно он сам собою дается писателю, без всяких усилий с его стороны. Так писал Тургенев.

Верность наблюдений и сила образности принадлежат к элементарным свойствам всякого хорошего писателя, — и я не считаю нужным останавливаться на них.

Под глубиной художественной мысли я разумю то проникновенное умение художника находить в людях, вещах и событиях их общую, типическую сущность, — которое свойственно только большим талантам. Об этом, как об отличительном качестве общественного писателя, я говорил выше. У Чехова очень много этой глубины.

Особенно я должен остановиться на замечательной способности нашего писателя отыскивать весьма естественные драматические положения и изображать их во всей их силе и часто простоте.

Нужно сказать, что отыскивать эти драматические положения чрезвычайно трудно. Я разумю здесь не такие кричащие события, как убийства, эффектные преступления, ревность, страшные коллизии противоположных чувств и т. п. Все это искони служит темой для драматургов, романистов и рассказчиков. Все это, откровенно говоря, стало уже избитым. Все это, если хотите, даже и не трудно изобразить, — руководствуясь, конечно, шаблоном. Я говорю об ином драматизме, — оригинальном у нашего писателя.

У него очень часто это самая естественная, обыденная события, мимо которых иногда проходишь в жизни совсему равнодушно и которая вдруг, по каким-либо обстоятельствам, приобретают силу и остроту настоящей катастрофы, неожиданной и ужасной.

Вот молодой поручик заболел тифом, потом выздоравливает и полон счастья, веселости, восторга возвращенной жизни. Вдруг с ужасом узнает он, что нужно любима им сестра, бывшая при нем сиделкою во время его болезни, за-

разилась от него и умерла. Вот кладбищенский сторож, после неуступных просьб сиренного странника, занутившегося на кладбище в темный осенний вечер, провожает его до ворот кладбища, сам труся вечерней тьмы и злых людей. Варуг у ворот кладбища странник сбрасывает с себя личину и оказывается громадой-мошеником, обманувшим сторожа, чтобы дать возможность своим товарищам безпрепятственно забраться в охраняемую сторожем церковь для грабежа. Вот сивый стариканка поившица, с завязкою ретрограда и крепостника, с несчастной страстью много говорить, и при том так говорить, что в конце-концов он всегда неожиданно оскорбит своего собеседника, сам того не желая и не замечая. Подобными речами он отвращает от своего дома решительно всех посетителей. А между тем у него есть дочери, старюшка дѣнь, которым нужно выйти замуж. Отсюда рождается чисто драматическое положение: глубокая бездна между отцом и дочерью, ненависть их к нему, его отчаяние, одиночество, жалостные письма его к дочерям, живущим в одном с ним доме, их муки старых дѣв и злорадное шипенье негодя отцу: «ж, жаба, жаба!»

Достаточно этих приквров. Но я мог бы привести их в двадцать раз больше.

Указанная простота, обыденность драматических положений в повестях Чехова составляет не единственную характерную сторону их. Другая их оригинальная особенность заключается в том, что большинство этих драматических положений отстоит на один шаг от сиваго. И в сущности, все повести и рассказы Чехова — своего рода малюк трагикомедий. Такое, в высшей степени поразительное, соединение драматического и комического элементов доступно только для избранных талантов.

Кстати отбвчу здесь еще одну характерную особенность Чехова. Он не пишет больших произведений; его повести и рассказы всегда очень незначительны по количеству печатных страниц. Но какова, за то, сила их! какое поразительное действие производить они на читателя!

Кажется, будто писатель пишет по следующему рецепту.

Он составляет большой роман или большую повесть, при чем все развитие этого романа, этой повести направляется таким образом, что достигает наибольшего напряжения, наибольшей силы, наибольшего драматизма в одном пункте, в одной, в двух, много в четырех заключительных главах произведения. Написав таким образом свое произведение, автор уничтожает весь роман или всю повесть за исключением тех двух, трех или четырех заключительных глав, где сосредоточивается вся катастрофа, где фабула приобретает самый острый и жгучий интерес, самый глубокий, потрясающий драматизм. Затем сочинитель придает округлость этим отрицательным главам, — и произведение готово: получается произведение сжатое, с быстрым и энергичным изложением, драматически-страстное и во всех отношениях превосходное.

Наконец, еще одно, постынее из перечисленных мною прекрасных качеств писателя. Это то его свойство, что он — поэт.

Он часто изображает природу и жизнь и далеко не банальными красками. Он с любовью подмечает и описывает глубокие, тонкие и страстные волнения души. Он старательно подчеркивает благородные начала, заложенные в сердце человека. Он выискивает красоты мира и любить останавливаться на них, — большую частью со вздохом, потому что видит, что эти красоты затеняются мировыми несовершенствами, либо общественными безудиями.

Таковы-то основные свойства превосходного писателя.

Затѣмъ переходимъ къ его „Мужикамъ“.

II.

Кто герой этого произведения? Герой не отдалъ какое-либо лицо, герой вся современная деревня, съ ея нуждой, нищетой и невѣжествомъ, съ ея безпомощностью въ критическія минуты, съ ея пожарами и громадными недонками, съ ея недугами, болѣзнями и смертями. Герой этотъ обрисованъ художникомъ довольно полно и оставляетъ глубокое впечатлѣніе. Подобное мастерское, ясное, точное и сжатое изображеніе деревенской обстановки, деревенскаго быта можетъ дать публицисту-критику превосходный матеріалъ для многихъ любопытныхъ выводовъ, можетъ послужить отправной точкой для дѣятельности общества на пользу деревни.

Въ этомъ общественное значеніе повѣсти. И въ этомъ отношеніи можно поставить чеховскихъ „Мужиковъ“ на высоту тургеневскихъ „Записокъ охотника“.

Не скрою отъ читателя, что „Мужиковъ“—въ художественномъ отношеніи—я считаю зрѣлѣе, продуманнѣе, даже ярче, чѣмъ большинство разсказовъ „Записокъ охотника“. Въдѣ, все-таки, „Мужики“ произведение уже возмужавшаго таланта; „Записки-же охотника“ были созданіемъ таланта, еще зрѣющаго, юнаго. Естественнo поэтому, что въ „Мужикахъ“ больше художественной силы, больше твердости писательской руки, больше искусства писать. Если же я ставлю рядомъ оба эти произведенія, то не по чисто художественному, а по идейному ихъ значенію.

Между „Записками охотника“ и „Мужиками“ та разница, что первое произведение изображаетъ намъ болѣе свѣтлую сторону крестьянской души („Хорь и Калинычъ“, „Пѣвцы“, „Бѣжинъ лугъ“ и др.), второе—болѣе стороны мрачныя. Но и то и другое различными средствами достигаютъ одного эффекта. Оба внушаютъ общественной совѣсти симпатію, состраданіе къ крестьянскому міру, оба возбуждаютъ въ обществѣ желаніе такъ или иначе помочь крестьянству.

Во времена „Записокъ охотника“ мужикъ былъ угнетенъ,—онъ былъ рабъ, онъ былъ въ глазахъ многихъ не человѣкъ, а предметъ собственности, члѣнъ, изъ которой можно было безъ труда извлекать доходы. Задача „Записокъ“ заключалась въ томъ, чтобы образумить этихъ многихъ, показать имъ, съ художественной силой и ясностью, что этотъ мужикъ такой-же человѣкъ, какъ и его баринъ, а весьма часто даже еще болѣе человѣкъ, чѣмъ его баринъ. Эта благотворная мысль съ громаднымъ успѣхомъ положена въ основу „Записокъ“ и художественная члѣнность произведенія отъ этого еще болѣе возрастаетъ.

Въ наше время, слава Богу, мужикъ не рабъ, онъ такой-же „самъ себѣ господинъ“, какъ и всѣ мы. Но многое еще,—а главное, бѣдность и невѣжество, мѣшаетъ ему подняться вполне до уровня этого „самого себѣ господина“. И заслуга писателя въ томъ и заключается, что онъ съ силой, серьезностью и ясностью рисуетъ обществу въ яркихъ краскахъ эту бѣдность и эту тьму непросвѣщенія,—причины, задерживающія успѣхи нашего крестьянства. И, подобно Тургеневу, онъ внушаетъ намъ симпатію къ бѣдному мужику, попавшему въ тенета бѣдности и невѣжества далеко не по своей винѣ, а по винѣ обстоятельствъ, и возбуждаетъ въ насъ желаніе выпутать его изъ этихъ тенетъ.

Вотъ въ чемъ сходство „Мужиковъ“ съ „Записками“. И первое и второе принадлежатъ къ числу по истинѣ благородныхъ, просвѣтительныхъ произведеній, правдиво изображающихъ душу и бытъ лю-

дей, отъ которыхъ большинство изъ насъ, къ сожалѣнію, такъ далеко отстоитъ и которыхъ часто совѣсть не понимаетъ, не цѣнитъ и не знаетъ.

Дѣйствующія лица, которыя стоятъ на первомъ планѣ разсказа „Мужики“, слѣдующія: заболѣвшій половой Николай Чикильдѣевъ, его отецъ, мать, дѣтвѣстки, Марья и Фекла, братья его Кирьякъ и жена его Ольга.

Авторъ сразу-же вводитъ насъ въ неприглядную деревенскую обстановку.

— „Пріѣхавшія съ нимъ жена Ольга и дочь Саша съ недоуменіемъ поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чутъ-ли не половину, темную отъ копоти и мукъ. Сколько мукъ! Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу, въ уголѣ были наклеены бутылочныя ярмы и обрывки газетной бумаги—это вѣсто картинокъ. Бѣдность, бѣдность! Изъ взрослыхъ никого не было дома, всѣ жали. На печи сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми, бѣлошоловая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедшихъ. Внизу терлась о рога члѣдная кошка.“

— Кисъ, кисъ! помянула ее Саша—Кисъ!

— Она у насъ не слышитъ,—сказала дѣвочка.—Отюля.

— Отчего?

— Такъ. Побили.

И съ первымъ-же страницъ повѣсти передъ нами разворачивается мрачная драма крестьянскихъ семействъ: злой пьяница, буянъ и самодуръ—мужъ и несчастная, забытая жена. Это Кирьякъ и Марья.

— „По случаю гостей поставили самоваръ... Но не успѣли вынуть и по чашкѣ, какъ со двора донесся громкій, протяжный пьяный крикъ:“

— Ма—арья!

— Похоже, Кирьякъ идетъ,—сказала старикъ. Легко въ поинѣ.

Всѣ притихли. И немного погодя, опять тотъ-же крикъ, грубый и протяжный, точно изъ-подъ земли.

— Ма—арья!

Марья, старшая невѣстка, побѣдилась, прижалась къ печи, и какъ-то странно было видѣть на лицѣ у этой широкоплечей, сильной, исстрадавшейся женщины выраженіе испуга. Ея дочь, та самая дѣвочка, которая сидѣла на печи и казалась равнодушной, вдругъ громко заплакала.

— А ты чего, холера? крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая въ плечахъ. Небось, не убьютъ!

Отъ старика Николая узнать, что Марья боялась жить въ тѣсу съ Кирьякомъ (гдѣ онъ былъ сторожемъ) и что онъ, когда бывалъ пьянъ, приходилъ всякій разъ за ней и при этомъ шепталъ и билъ ее безъ пощадъ.

— Ма—арья! раздался крикъ у самой двери.

— Вступитесь Христа—ради, родименькіе, — зашепеляла Марья, дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду.

— Вступитесь родименькіе...

Заплакала всѣ дѣти, сколько ихъ было въ избѣ, и, глядя на нихъ, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и въ избу вошелъ высокій, чернобородый мужикъ въ диней шапкѣ и отнюго, что при тускломъ свѣтѣ лампочекъ не было видно его лица,—страшный *). Это былъ Кирьякъ. Полоила къ женѣ, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по лицу, она же не издавая ни звука, опешеленная ударомъ, и только присѣла, и тотчасъ-же у нея изъ носа пошла кровь.

— Экой срамъ-то, срамъ! бормотала старикъ, потѣкая на печь.—При гостяхъ-то! грѣхъ какой!

А старуха сидѣла молча, сторбавшись, и о чемъ-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшнымъ и довольнымъ этимъ, Кирьякъ схватилъ Марью за руку, потащилъ ее къ двери и зарычалъ звѣрею, чтобы казалась еще страшнѣе, но въ это время вдругъ увидѣлъ гостей и остановился.

Этотъ страшный Кирьякъ представляетъ полную противоположность своему брату,—смирному, кроткому Николаю.

А вотъ какими чертами авторъ обрисовываетъ ихъ родителей.

Мать-старуха, которую всѣ въ семьѣ называютъ бабкой, производитъ впечатлѣніе дурной женщины, но это потому, что вся она поглощена нуждой: члѣвка убила въ ней скупая и сварливая хозяйка убогаго хозяйства, которая всѣ силы ума и души употребляетъ на то, чтобы ея нищенское домоводство не раззорилось окончательно. Чувства такой скупой и сварливой хозяйки заняли въ ея душѣ господствующее мѣсто и заглушили, можетъ быть, бывшія въ ней сѣмена добросердечія и любви. Съ му-

*) Какъ хороша эта художественная подробность! какое мѣткое наблюденіе!

— Скорѣ онъ уѣзжалъ; и когда онъ садился въ свой дешовый тарантасъ и капляло, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что онъ уже не помнитъ ни объ Осинѣ, ни о старостѣ, ни о жуковскихъ недонимкахъ, а думалъ о чемъ-то своихъ собственностяхъ.

III.

Какою-же представляется намъ деревня по разсказу Чехова?

Она представляется намъ голодной и холодной, невѣжественной и грубой, смѣшной и жалкой, иногда обиженой и беспомощной, и вообще несчастной. Есть въ ней смена лучшаго, — влечение къ свободѣ, къ справедливости, къ любви и вѣрѣ, — но эти смена пока гложутъ...

«Въ Жуковѣ было только сорокъ дворовъ, но недонимки, казенной и земской, накопилось больше двухъ тысячъ».

Дней черезъ десять опять приѣхалъ становой, побывавъ съ часъ и уѣзжалъ. Въ тѣ дни погода стояла вѣтрная, холодная; рѣка давно уже замерзла, а снѣга все не было, и люди замучились безъ дороги. Какъ-то въ праздникъ переездъ вечеромъ сошелъ лавши къ Осинѣ поспѣть, потолковать. Были кое-какія новости, довольно непріятныя. Такъ, въ двухъ-трехъ домахъ забранили за неурядицу куръ и отправили ихъ въ волостное правление, и тамъ онѣ покорились, такъ какъ ихъ никто не кормилъ; забранили овенъ, пока вели ихъ, связанныхъ, перекладывая въ каждой деревнѣ на новыхъ подводахъ, одна излохля. И теперь рѣшались вопросы: кто виноватъ?

— Земство! говорилъ Осинѣ. Кто-жъ!

— Известно, земство.

Земство обвиняли во всемъ — и въ недонимкахъ и въ притѣсненіяхъ, и въ неурядицахъ, *дошли на овенъ не лавша, что овенъ земство*. И это пошло съ тѣхъ поръ, какъ богатые мужики, имѣвшіе свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали въ земскихъ гласныхъ, остались недовольны и потому въ своихъ фабрикахъ и трактирахъ стали бранить земство.

Грустный фактъ!

Земскія учрежденія, — одно изъ лучшихъ достойныхъ, оставшихся намъ отъ минувшей эпохи, — свободныя земскія учрежденія, которыя одни могутъ вполне обезпечить благосостояніе уѣздовъ и губерній, — эти благотворительныя учрежденія обвиняются невѣжественными крестьянствомъ въ тѣхъ неурядицахъ, которыя, если и существуютъ, то именно *вопреки* земству, *наперекоръ* земскому началу въ управленіи!

Собственно и не земскія учрежденія обвиняются, а обвиняется какой-то темный призракъ, — земство, — какое-то пугало. А такимъ, т. е. призракомъ и пугаломъ, оно является благодаря тому, что просвѣщеніе еще не достаточно широкой волной разливалось по нашимъ селамъ и деревнямъ, а также благодаря деревенскимъ кулакамъ и миродамъ, которымъ это земство мѣшаетъ ловить рыбу въ мутной водѣ и голосъ которыхъ, какъ это часто бываетъ, по экономическимъ причинамъ, является авторитетнымъ рѣшителемъ многихъ вопросовъ крестьянской жизни и руководителемъ общественнаго мнѣнія въ крестьянской средѣ.

Что сказано властнымъ и богатымъ, то должно быть вѣрно! Властный и богатый — значитъ умный! Если-бы послушныя и забитыя овцы могли разсуждать, то, навѣрно, ихъ пастухъ показался-бы имъ очень мудрымъ человекомъ.

А какъ голодна деревня, видно изъ этихъ описаній:

«По случаю праздника купили въ трактирѣ селедку и варили похлебку изъ селедочной головки. Въ полдень всѣ сѣли пить чай и имѣли его долго, до нота и, казалось, распухли отъ чая, и уже послѣ этого стали ѣсть похлебку, всѣ изъ одного горшка. А селедку бабка спрятали». — «О, какая суровая, какая длинная зима! Уже съ Рождества не было своего хлѣба и муку покупали... Въ хлѣву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи».

Когда представится случай, всѣ, какъ голодные индѣи, набрасываются на пишу. Въ одинъ праздникъ

— съ Чикильфевыхъ зарѣзали барана, и ѣли его утромъ, въ обѣдъ и вечеромъ, ѣли по многу, и потому еще ночью дѣти вставали, чтобы поѣсть».

И этотъ голодъ не позволяетъ жить настоящей жизнью.

«На зеленыхъ кустахъ, которые свѣтрѣлись въ воду, сверкала роса. Появилось тепло, стало отрадно. Какое прекрасное

утро! И, вѣроятно, какая была-бы прекрасная жизнь на этомъ свѣтѣ, если-бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, отъ которой нигдѣ не спрыгнешь! Стоило теперь только отлучиться на деревню... и очарованіе счастья, какое чудилось кругомъ, исчезало въ одно мгновеніе».

Да, грубая, безысходная нужда вытравляетъ въ человѣкѣ лучшія чувства, затмѣваетъ передъ нимъ красоту природы и нравственную красоту, калѣбитъ, уродуетъ душу человѣка... Все поглощено мыслью о томъ, чтобы не умереть завтра съ голоду, о томъ, чтобы внести исправно подать или уплатить недоимку, о томъ, какъ хочется ѣсть, и о томъ, что ѣды не хватитъ на всѣхъ...

Нужду и горькую жизнь забываютъ въ пьянствѣ, — въ кабацкѣ мужики идутъ, какъ чиновники идутъ къ карточному столу, въ дешовый театръ, въ увеселительныя сады.

«На Ильинѣ пили, на Успеніи пили, на Воздвиженіи пили. На Покровѣ въ Жуковѣ былъ приходскій праздникъ, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественныхъ денегъ и потомъ еще со всѣхъ дворовъ собирали на водку».

А за пьянствомъ — всѣ его грубыя и укасные послѣдствія.

«Въ трактирѣ и около шумѣли мужики; они пѣли пьяными голосами, всѣ врозь, и бранились такъ, что Ольга только издрагивала и говорила: «Ахъ, батюшки!» Не удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и долѣе всѣхъ бранились старики, которымъ пора уже умирать. А дѣти и дѣвушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли къ ней съ колыбели... Минувала полночь, уже потухли печи здѣсь и на той сторонѣ, а внизу на лугу и въ трактирѣ все еще гуляло».

На такой-то почвѣ, какова только что описанная, не взойдетъ богатая нива и заглохнутъ добрыя сѣмена.

Но порою эти добрыя сѣмена рвутся изъ глубокихъ нѣдръ наружу, порою грубая отъ нужды и невѣжества крестьянская сердца волнуются хорошими, свѣтлыми чувствами, — увы, рѣдко и не надолго! Такъ, напримѣръ, при встрѣчѣ чудотворной иконы, всѣ

«протягивали руки къ иконѣ, жадно глядя на нее и говорили, плача: — «Заступница, матушка, заступница!»

«Всѣ какъ будто вдругъ поняли, что между землей и небою не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжелой невыносимой нужды, отъ страшной водки»...

Впрочемъ, религію больше смутно чувствовали, чѣмъ понимали.

«Старикъ не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда не думалъ о немъ... Бабка вѣрила, но какъ-то тускло... Марья и Ефка крестились, голяли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили имъ о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только заирали въ постъ ѣсть скоромное».

«Смерти боялись только богатые мужики... Мужики-же побѣды не боялись смерти... Марья даже жалѣла, что смерть такъ долго не приходитъ, и бывала рада, когда у нея умирали дѣти».

Такимъ образомъ передъ нами развертывается полная и широкая картина деревенскаго быта — и какая скорбная картина! На ней изображены типическія черты каждой убогой деревушки, какихъ, къ сожалѣнію, еще такъ много въ нашей отчизнѣ... Художникъ искусной рукой собралъ воедино всѣ эти типическія, иногда разбѣянные и разбросанные черты, сдѣлалъ художественное обобщеніе и, съ искренностью, глубиной мысли и чувства, и съ полнотой, возсоздалъ передъ нами *типъ* деревни.

IV.

Въ заключеніе, нѣсколько словъ о чисто художественной сторонѣ повѣсти.

Въ ней много превосходно написанныхъ сценъ, — есть дѣйствія, потрясающія, полныя глубокаго драматизма.

Прекрасно изображенъ деревенскій пожаръ, гдѣ ярко обрисовывается беспомощность деревни въ критическіе моменты ея жизни. Прелестна одна дѣтская сценка: Саша и Мотыка бесѣдуютъ объ ангелахъ, Богѣ, адѣ, о злыхъ и добрыхъ. Интересна бесѣда въ

осенний вечеръ въ избѣ Осипа, за работой: бабка и Осипъ вспоминаютъ о крѣпостномъ времени, о господствѣ, о развратной жизни ихъ... Посѣщеніе деревни становилъ—одна изъ наиболее глубокихъ страницъ повѣсти.

Къ драматическимъ сценамъ относится, во-первыхъ, сцена появленія въ избѣ пьянаго Кирьяка въ день пріѣзда въ деревню Николая. Отрывокъ изъ нея приведенъ вверху выше. Другая сцена...

Но я позволю себѣ сдѣлать еще одну выписку—последнюю. Я увѣренъ, что читатель останется только благодаренъ мнѣ, какъ за всѣ уже сдѣланныя мною многочисленныя выписки, такъ и за эту.

«Должись спать молча, и старикомъ, потревоженные разсказами, взволнованные, думали о томъ, какъ корнѣя молодость, послѣ которой, казая-бы она ни была, остается въ воспоминаніяхъ одно только живое, радостное, трогательное, и какъ страшна, холодна эта смерть, которая не за горами,—лучше о ней и не думать»

«Лампочка потухла. И потемки, и далъ окошко рѣзко освѣщенна луной, и тишина, и скрипъ колыбели напоинили почему-то только о томъ, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никакъ... Вздремнешь, забудешься, и вдругъ кто-то трогаетъ за плечо, дуетъ въ щеку—и сна нѣтъ, тѣло такое, точно отлежалъ его, и лѣзутъ въ голову все мысли о смерти; повернулась на другой бокъ, о смерти уже забыла, но въ головѣ бродятъ давнія, скучныя, нужныя мысли о нужѣ, о кормлѣ, о томъ, что мука вздоржала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ея...

— О, Господи! вздохнула поваръ *).

Кто-то тихо-тихо постучался въ окошко. Должно-быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зѣвая, шепча молитву, отперла дверь, потому что снѣгать нынѣ засовы. Но никто не входитъ, только съ улицы повѣяло холодомъ и стало вдругъ свѣтло отъ луны. Въ открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тутъ?—откликнула Ольга.

— Я,—послышался отвѣтъ.—Это я.

Около двери, прижавшись къ стѣнѣ, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала отъ холода, стучала зубами, и при яркомъ свѣтѣ луны казалась очень блѣдной, красивой и страшной. Тѣни на ней и блескъ луны на кожѣ какъ-то рѣзко про-сали въ глаза и особенно отчетливо обозначались ея тѣсныя брови и молодая крѣпкая грудь.

— На той сторонѣ озирники раздѣли, пустили такъ, проговорили она. Дожой безъ одежды шла... въ чемъ мать родила. Принеси одѣться.

*) Странствующій старичекъ-поваръ попросился провести эту ночь въ избѣ Осипа.

— Да ты въ избу иди!—тихо сказала Ольга, только начинала дрожать.

— Старикъ-бы не увидали.

Въ самомъ дѣлѣ бабка уже безпокоилась и ворчала и старикъ спрашивалъ: «кто тамъ»? Ольга принесла свои рубашку и юбку, одѣла Феклу и потомъ обѣ, стараясь не стучать дверями, вошли въ избу.

— Это ты, глупая? сердито проворчала бабка, догадываясь, кто это.—У, чтобъ тебя, полуношница! нѣтъ на тебя потябеси!

— Ничего, ничего,—шептала Ольга, кутая Феклу.—Ничего, касатка.

Опять стало тихо. Въ избѣ всегда тихо спали; каждому являло спать что-нибудь неотличимое, изобильное: старикъ боялся синихъ бабъ—заботы и злости, Марья—страхъ, дѣтямъ чесотка и голодь. И теперь тоже сонъ былъ тревожный; поворачивались съ боку на бокъ, бредили, вставали напиться.

Фекла вдругъ зарывалась грѣлку, грубымъ голосомъ, но тотчасъ-же сдержала себя и изрѣдка всхлипывала, все тише и глуше, пока не заснула. Временами съ той стороны, изъ-за рѣки доносились бой часовъ; но часы были какъ-то странно: пробили пять, потомъ три.

— О, Господи!—вздыхала поваръ.

Глубокое и сильное впечатлѣніе остается отъ всей этой ночной картины!

Впрочемъ, отъ начала до конца, все въ этой повѣсти превосходно—высокохудожественный стиль и мастерская обрисовка характеровъ, поэтическая описанія природы и энергическая, сжатая композиція драматическихъ сценъ, иѣткость наблюденій, истина психологическаго анализа, вѣрность природы и жизни и соблюденіе правилъ искусства,—отчего эта повѣсть производитъ впечатлѣніе вдохновеннаго художественнаго, а не мертворожденнаго тенденціознаго произведенія, несмотря на то, что въ основѣ ея лежитъ яркая тенденція.

Я старался дать отчетъ читателю объ этой повѣсти возможно полнѣе и правдивѣе, я старался глубже проанализировать тѣ чувства, которыя она во мнѣ возбуждала,—но лучшее, что я могу сдѣлать—это посоветовать читателю, если онъ еще не читалъ этого превосходнаго произведенія, поскорѣе ознакомиться съ нимъ и проверить, исправить и дополнить мои сужденія о Чеховѣ и о его повѣсти своими собственными мыслями, чувствами и впечатлѣніями.

В. Толиковъ.

<Вл. Георгъ>



ВЪ ПАНСІОНѢ.

Романъ въ двухъ частяхъ. Габріэли Запольской *).

Часть II.

(Переводъ для «Закасійскаго Обозрѣнія». Е. Д.)



РИ дня уже Юзя умирала.

Это было ужасное время для всего пансіона: смерть витала такъ близко! Въ страхѣ, пансіонерки собирались въ кучки, возбужденно перешептываясь о чемъ-то, и одна изъ приходящихъ принесла даже „La femme vierge e broche“—обширное сочиненіе съ сорока рисунками въ текстѣ, вызывавшими яркіе ружьяны на щекахъ и безконечныя споры о причинѣ болѣзни „генерала“. М-ше Герчикевичъ совсѣмъ потеряла го-

Продолженіе. См. № 6.

лову. Эта ужасная чахотка явилась такъ неожиданно, и блѣдная Юзичка, всегда такая здоровая и веселая, свалилась вдругъ, какъ подкошенная, обливаясь кровью. Правда, она всегда капляла немного, была худенькая и блѣдная, почти прозрачная, но докторъ утверждалъ, что это послѣдствія, переходнаго возраста, и все кончится благополучно... И какъ разъ эта ужасная болѣзнь пришла въ то время, когда она собиралась прочесть своимъ ученицамъ „Горштынскихъ“ съ комментаріями!

Между тѣмъ пансіонерки шептались по угламъ, припоминая послѣдніе дни, когда Юзя была еще здоровая, ея постоянное, нервное, неестественное возбужденіе, ея непрерывный смѣхъ, вдругъ срывающійся слезами и удушливый кашель. Какъ-бы желая